

МАРИНА ЗАГИДУЛЛИНА

Челябинский государственный университет

ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ФУНКЦИИ ПРЕССЫ: КАК ПРОЦЕССЫ ИНДИГЕНИЗАЦИИ РЕКОНФИГУРИРУЮТ ИСТОРИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ

Понятие «индигенизация» употребляется в культуре и науке в самых разных смыслах. Мы сосредоточимся только на его значении в коммуникативистике и родственных дисциплинах. Применительно к теории коммуникации и журнализму понятие «индигенизация» (буквально — «отуземливание») активно стало употребляться с 90-х гг. прошлого века, когда господствующая до той поры концепция Дэниэла Лернера¹ стала давать сбои. Лернер (в ряду других теоретиков и практиков модернизации) предлагал модель универсальной («единственно правильной») концепции прессы и масс-медиа для развивающихся стран (своеобразная общая, глобальная теория массовой коммуникации). Основной постулат, из которого исходили сторонники «привнесенной модернизации», заключался в том, что только либеральная модель прессы может считаться правильной (получил распространение термин «нормативная теория прессы»), а результатом ее внедрения станет ускоренный процесс развития демократического общества в странах постколониальной эпохи.

Интересно сопоставить эту концепцию с утвердившейся в истории русской литературы в 1860-е гг. концепцией «правильной литературы» («поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», по точному выражению Николая Некрасова). Так называемая «демократическая» (точнее, «революционно-демократическая») эстетика победила не только на уровне отвлеченных дебатов и пикировок между журналами, но и на уровне

¹ D. Lerner, *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*, Free Press, New York 1958.

господствующей идеологии («народничества», а точнее, «народолюбия» и даже «народо-идолизации», где под само понятие «народ» попадал некий коллективный фантом, воображаемый конструкт). Опыт российской истории того периода показывает, что народничество по большей мере было важно для тех, кто себя к народу не относил (обеспеченного «среднего» класса, третьего сословия, «интеллигенции» или даже, по выражению Джеффри Брукса, «полуинтеллигенции»²), а воспринимал народ как некое страдающее коллективное тело, жаждущее просвещения и истинного освобождения (и вновь Некрасов: «народ освобожден, но счастлив ли народ?»). Взгляд «народников» со стороны на народные массы не был адекватным — и ошибки социального конструирования приводили к массовому провалу разного рода просветительских и «освободительных» проектов, о чем написаны не только научные исследования, но и романы, и поэмы³. В задачи нашей статьи подробный анализ этого периода не входит — нам важно провести параллель между «модернизацией» и «народничеством» как одинаково неуспешными социальными конструкциями. Основная причина провала — попытка поиска универсального ответа на вопросы, заданные совершенно разными по своему генезису культурно-историческими ситуациями. Убеждение в том, что только демократия отвечает вековым чаяниям социума о равенстве и справедливости, лежащее как в основе народничества, так и в основе модернизации, а смысл счастья каждого человека сокрыт в его материальном благополучии и неприкосновенности (безопасности), вело к тому, что игнорировались всевозможные уникальные и порой частные, локальные формы организации социальности (вернее, они заведомо объявлялись «отсталыми»: и народники, и модернизаторы выполняли миссию «просвещения», «наставления на истинный путь»).

Индицинизация в коммуникации — это процесс демодернизации «лернеровского типа». Он распространяется не столько на общество (которое во время модернизации «приспосабливается» к ней как к политическому и культурному вызовам),

² J. Brooks, *When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917*, Northwestern University Press, Evanston, Illinois 2003.

³ См., например: А.А. Белкин, *Народничество* // А.А. Сурков (гл. ред.), *Краткая литературная энциклопедия в 9 т.*, Советская энциклопедия, Москва 1962–1978, т. 5: Мурари — Припев, 1968, стб. 108–110.

сколько на рефлектирующую часть интеллигенции (конкретно в случае с теорией коммуникации и журналистики — ученых-коммуникативистов). Наиболее яркое выражение этот процесс получил в научной рефлексии по поводу состояния журналистики в незападных странах. Крупные исследования *journalism cultures* показали, что базовые принципы журналистского труда (объективность, независимость, принципиальность и беспристрастность в подаче фактов, принцип «сторожевой собаки демократии», предполагающий постоянный контроль за властью и др.⁴) не работают (или работают «не идеально») в разных частях мира. С начала XXI в. оценка этого несоответствия перестала основываться только на категориях «отсталости», «незрелости», «неразвитости». Появились серьезные труды, которые рассматривали отклонения от «идеала» как критику самого этого «образца» и возможность установления иных, актуальных для традиций и коммуникативных типов данного общества (индигенизированных) моделей⁵.

⁴ F. Siebert, T. Peterson, W. Schramm, *Four Theories of the Press*, University of Illinois Press, Urbana 1956.

⁵ См., например: С.Г. Корконосенко (ред.), *Теории журналистики в России: зарождение и развитие*, СПбГУ, Санкт-Петербург 2014; R. Breit, L. Obijiofor, R. Fitzgerald, *Internationalization as De-Westernization of the Curriculum: The Case of Journalism at an Australian University*, «Journal of Studies in International Education» 2013, № 17, с. 103–118; J. Curran, M.J. Park (ред.), *De-Westernizing Media Studies*, Routledge, London 2000; J.D.H. Downing, *Internationalizing Media Theory: Transition, Power, Culture — Reflections on Media in Russia, Poland and Hungary, 1980–95*, Sage Publications Ltd., London 1996; D. Dunas, *Studying in the Field of Mass Communication: Foreign Researchers' View of the Issue*, «Medi@lmanakh» 2013, № 1, с. 5–15; P. Golding, P. Harris (ред.), *Beyond Cultural Imperialism: Globalization, Communication and the New International Order*, SAGE, London 1996; S.A. Gunaratne, *Globalization — A Non-Western Perspective: The Bias of Social Science / Communication Oligopoly*, «Communication, Culture & Critique» 2009, № 2 (1), с. 60–82; S.A. Gunaratne, *The Dao of the Press: A Humanocentric Theory*, Hampton Press, Cresskill, NJ 2005; K. Jakubowicz, *Rude Awakening: Social and Media Change in Central and Eastern Europe*, «The Public» 2001, № 8 (1), с. 59–80; D. Halin, P. Mancini (ред.), *Comparing Media-Systems Beyond the Western World*, Cambridge University Press, NY, Cambridge 2012; S.G. Korokonosenko, *Russian Journalism Theory in a Changing Global Context*, «Asian Social Science» 2015, т. 11, № 1, с. 329–334; J. Servaes, *Questioning the Western Bias in International Communication: Beyond Modernization and the Four Theories of the Press* // C.C. Lee (ред.), *Internationalizing „International Communication”*, University of Michigan Press, Lansing 2011, с. 1–24; J. Servaes, *Beyond the Four Theories of the Press*, «Communicatio Socialis Yearbook» 1989,

Не останавливаясь на частностях тех достижений, что были получены специалистами из Китая, Латинской Америки, ряда стран Европы⁶, и основываясь на самой возможности сопоставления модернизации и народничества, обратимся к возможности трансфера этого подхода в область истории русской литературы и журналистики.

Грань между этими двумя сферами в XIX в. ощущалась как мембрана — вроде бы, раздел есть, но он открыт в обе стороны, а журналист и писатель, скорее, воспринимаются как публицисты (о чем бы ни было их произведение). Именно поэтому в России история журналистики не высвобождалась в отдельное направление знания, а всегда рассматривалась как часть более широкого литературного поля, а сама журналистика как научное знание оказалась в отрасли литературоведения. О литературоцентричности классического периода русской культуры написано немало. Нас в большей мере интересует не «литературность» и «публицистичность» журналистики, но именно возможность увидеть то особенное, что станет потом, в постсоветский период, «индигенизироваться» и требовать институционализации.

В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты.

Сама история русской литературы и журналистики создавалась в ее классическом виде в советский период, когда акцентирование внимания на «революционно-демократическом» было непременным атрибутом такого труда. Это известный фактор развития советской науки; для нас сейчас значимо, что внимание исследователей было сосредоточено на любом (даже заурядном) факте проявления «свободомыслия» в царской России (например, на детальном изучении сатирической волны 1860-х гг.), зато вся «охранительная литература» (и с нею и журналистика) изучалась — говоря несколько огрубленно — как «прицеп» к де-

№ 8, с. 107–119; Ye.L. Vartanova, *The Russian Mass-Media Model in the Context of Post-Soviet Dynamics* // D. Halin, P. Mancini (ред.), *Comparing Media-Systems...*, с. 119–142; G. Wang, *Culture, Paradigm, and Communication Theory: A Matter of Boundary or Commensurability?*, «Communication Theory» 2014, № 24 (4), с. 373–393; G. Wang (ред.), *De-Westernizing Communication Research: Changing Questions and Altering Frameworks*, Routledge, New York 2011, с. 274–275 и др.

⁶ См. подробнее: М.В. Загидуллина, *Теория журналистики: к вопросу об индигенизации отечественных медиа-исследований*, «Знак: проблемное поле медиаобразования» 2015, № 1 (15), с. 64–73.

мократической (показать ее несправедливость, алчность, подбострастие и т.п.). В постсоветский период пересмотр истории литературы и журналистики коснулся, в первую очередь, имен и произведений, выразивших «неидейную» (не «революционно-демократическую») сторону литературного процесса (таков оглушительный успех произведений Серебряного века, которые ранее клеймились как «декадентские» и «упаднические»). Вся «эстетическая» линия литературы оказалась немедленно возвращена на Олимп. Кроме того — по принципу кидания из крайности в крайность, — интерес вызвала и антисоветская литература. Но, возвращаясь к периоду становления массовой грамотности и массовой прессы, отметим, что вопрос о том, каковы именно были *потребности* этого массового читателя, никогда не ставился. По умолчанию, ценности определялись всегда, исходя из убеждений «высокобровой» интеллигенции. Ее мнение ценилось и получало институциональную поддержку (прежде всего, на уровне учебников литературы и других предметов гуманитарного цикла для школ и вузов). Но пример индигенизации в рамках теории коммуникаций и журнализма в современном интернациональном научном пространстве помогает взглянуть на историю литературы и журналистики под иным углом зрения.

«Когда Россия научилась читать» (по выражению Брукса), то массовый читатель проявил интерес не к Пушкину или Гоголю, но к справочной литературе по сельскому хозяйству, строительству и т.п. прозаическим вещам⁷. Что же касается демократической прессы, никакой особенной аудитории у нее не было, и потребность в такой модели журналистики — как мы можем судить по тиражам — отсутствовала. Важно, что в советский период сразу утвердилась партийная модель журнализма (в *Четырех теориях прессы* она была названа советской), в которой не ставились под сомнение сама идея и идеалы коммунизма. Критика, конечно, в адрес отдельных лиц могла быть (но не в адрес первого лица), зато идеология приобретала статус священной ценности. Такая модель журналистики построена была не на «реше-

⁷ Об этом подробно и очень обстоятельно в свое время писал Николай Рубакин — «независимый» (от «народничества» и «революционно-демократической» идеи) исследователь чтения (конца XIX — начала XX века). См.: Н.А. Рубакин, *Русские читатели и их обстановка*, «Вестник знания» 1905, № 1, с. 172–182; № 2, с. 141–155; Н.А. Рубакин, *Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры и наблюдения*. Типография А.А. Пороховщикова, Санкт-Петербург 1895.

нии правящей верхушки», но во многом на заказе «снизу»⁸. Мы вновь видим неразличимость литературы и журналистики: они выступают общим фронтом. Суть низового заказа сводится к неартикулированной потребности читать газеты и книги с «ясной идеологией». Дело не в том, что русский читатель (в своей массе) не ищет «трудного», требующего собственного интеллектуального труда чтения. Мы могли бы предположить, что это просто особенности массового сознания (и оно таково в любой стране), но вряд ли мы были бы правы. Здесь как раз просматривается особая («туземная») потребность в идеологии как таковой (эта потребность выражается массово, представляя собой «низовой заказ»). Смыслы и ориентиры должны быть ясно расставлены и поддержаны институционально.

Герт Хофстеде предложил качественный способ «шкалирования»⁹ глубинных ментальных принципов, определяющих массовое поведение и — в самом обобщенном виде — общепринятые образцы поведения и оценки явлений (менталитет). «Индексы» в его исследовании, основанном на опросах служащих IBM, огромной интернациональной компании, выглядят следующим образом: дистанцированность от власти (PDI), индивидуализм (IDV), маскулинность (MAS), избегание неопределенности (UAI), длительное ориентирование во времени (LTO), раскрепощенность (IND). Сам выбор именно этих шести характеристик также основан на серьезном исследовании наиболее значимых маркеров различий культур (уникальности разных культур). Этот подход позволяет нам обнаружить определенные коды, воздействующие на неартикулируемые потребности. И если, например, в русском ментальном коде мы обнаруживаем превалирование коллективистских ценностей над индивидуальными потребностями, то становится ясно, почему, например, в XIX в. существовала такая форма общественного поведения, как «круговая порука», а в XX в. так хорошо прижился социализм (и, соответственно, почему советские формы общественной жизни становятся все более привлекательными для масс сегодня). Если

⁸ Эту модель «низового заказа» обстоятельно исследует в своей книге Евгений Добренко. См.: Е. Добренко, *Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы*, Академический проект, Санкт-Петербург 1997.

⁹ G. Hofstede, *What about Russia?* // *The Hofstede Centre*, <http://geert-hofstede.com/russia.html> (11.02.2016).

индекс РДИ тяготеет к системам вертикального подчинения, то стоит ли ждать массовой легитимности подлинной демократии? Она оказывается возможной только при «освящении» высшей идеей — и наличием четкой вертикали, на вершине которой — Бог (например, Благодетель в романе Замятина *Мы* или Сталин в реальных культурных практиках середины XX в.). Собственно горизонталь строится на коллективизме (равенстве всех «остальных»). И тогда становятся понятны и культ нищеты, и ненависть к богатству, и тесная связь в массовом сознании богатства с воровством. Очевидно, что такое устройство менталитета обеспечивает конфигурацию «низового заказа», адресованную искусству вообще, — оно должно непременно быть освящено высшей идеей — незыблемой, не подвергающейся сомнению.

Между тем для демократической модели (в том числе и нормативной теории прессы) единственной святой идеей как раз является идея свободы и твоего права на свободу. Этого недостаточно для общества, имеющего одновременно коллективистскую и патерналистскую модели массового сознания. Мы можем указать на два чрезвычайно значимых примера в русской классике. Это, в первую очередь, эпизод из *Войны и мира*, где Николай Ростов тяжело переживает отказ царя помочь умирающему в больнице Ваське Денисову. В нем зреет протест: «То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставлял себя на таких странных мыслях, что пугался их»¹⁰. Но эта работа мысли заканчивается раздраженной вспышкой, скорее, обращенной Николаем к себе самому: «А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет»¹¹. Второй пример — это эмоциональная фраза Федора Достоевского (в письме Наталье Фонвизиной от конца января 1854 г.): «[...] если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»¹².

Когда Христос (идея) важнее истины (объективности), либертарианская модель прессы терпит фиаско уже потому, что оказы-

¹⁰ Л.Н. Толстой, *Полное собрание сочинений в 90 т.*, т. 10, Государственное издательство художественной литературы, Москва 1938, с. 150.

¹¹ Там же, с. 151.

¹² Ф.М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30 т.*, т. 28, кн. 1, Наука, Ленингр. отд., Ленинград 1985, с. 176.

вается нелегитимной в пространстве массового сознания. Можно было бы говорить о пропагандистском повороте в российской прессе с февраля 2014 г., если бы это действительно было только пропагандой. На самом деле, громко зазвучал голос той части журналистики, которая могла бы себя на (старый) советский лад назвать «партийной» (и также добавить, что именно за ее партией и стоит народ). В данном случае реализовывалась все та же идея — со страниц газет звучала поддержка правящего курса. Это ощущение стабильности, своеобразное символизирование: идея может быть и персонифицированной. По Хофстеде, именно так уживаются разные комбинации «шкалирования». Если концепция демократической прессы точно соответствовала американским представлениям о «норме», то почему она должна была быть релевантной другим культурным кодам? Кажется важным утверждение Сэмюэля Хантингтона¹³ в том, что сторонники демократической модели будут всегда и в любой стране, но они не составят большинство, а их идеалы не станут легитимными общественными идеалами. Исследование Хофстеде помогает понять, что так называемая «англо-саксонская» модель журнализма (шире — культуры) основана на близости ментальных кодов Великобритании и США. Но Россия отличается от этих показателей кардинально.

Таблица 1

Сравнение культурных кодов США, Великобритании и России (по Хофстеде)¹⁴

Страна / Индекс	Дистанцированность от власти	Индивидуализм	Маскулинность	Избегание неопределенности	Длительное ориентирование во времени	Раскрепощенность
Россия	93	39	36	95	81	20
Великобритания	35	89	66	35	51	69
США	40	91	62	46	26	68

Ни один показатель России не сбалансирован (в отличие от США и Великобритании, где ряд индексов находится на средних

¹³ S. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon & Schuster, New York 1996.

¹⁴ Данные с сайта *The Hofstede Centre*, <http://geert-hofstede.com/russia.html> (11.02.2016).

позициях). Индекс либо выражен ярко, либо «стерт». С другой стороны, те индексы, что для «англо-саксонской» модели выражены позитивно, в России — негативны (и наоборот). Как может для таких разных стран применяться одна и та же коммуникационная модель? Но вместе с тем можно говорить и о возможности иного взгляда на историю таких крупных систем, как литература и журналистика. Правомочны вопросы — кем они формировались? Какие идеологические императивы руководили акторами? Если вернуться к периоду торжества народничества (или — несколько ранее — критике Белинского как «властителя дум» 40-х гг.), то будет очевиден крен к демократическому представлению об историко-литературном процессе. Интерес читателей к *другой* литературе оказывается за пределами учебников — а вместе с учебниками формируется и канон, определяющий массовое представление о *норме* в журналистике и литературе (представление, которое не может трансформироваться в массовое же сознание, соответствующее этой норме). Между тем Пол Дебрецени, анализируя мифотворческие модели вокруг Пушкина, выделяет важную доминанту представления о святости — страстотерпчество¹⁵. «Пострадать за идею» — так можно определить *форму* идеала, а содержание его может меняться (будь то идея Христа, коммунизма или «стабильного мира»).

Имея ввиду практические выводы, следовало бы отметить необходимость более внимательного анализа таких ситуаций в российской истории литературы и журналистики, когда подлинную массовую поддержку имели СМИ-вестники (правительственной воли). Книги, становившиеся лидерами «народного выбора», тоже требуют особого рассмотрения сквозь призму индигенизации (стоит критически пересмотреть и способы получения этих рейтингов). Ревизия истории литературы и журналистики может идти не только по пути исследования массовых форм культуры, но путем выявления платформ, создававших основу национальной идентичности. В рамках теории культурных измерений Хофстеде такой анализ мог бы быть весьма продуктивным — и не только восстановить «пропущенные звенья» в истории русской литературы и журналистики, но и обнаружить закономерности, влияющие на современное развитие публичной сферы.

¹⁵ P. Débrecezy, *Social Functions of Literature: Alexander Pushkin and Russian Culture*, Stanford University Press, Stanford, California 1997, разд. VIII.

Marina Zagidullina

ROZWAŻAJĄC NA NOWO FUNKCJE PRASY: JAK PROCESY INDYGENIZACJI
REKONFIGURUJĄ HISTORIĘ LITERATURY ROSYJSKIEJ I DZIENNIKARSTWA

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest omówienie możliwości transferu koncepcji i idei z powstałych w ciągu ostatnich dziesięcioleci teorii indygeniczych, dotyczących komunikacji ogólnej, do historii literatury i dziennikarstwa. W oparciu o prace Geerta Hofstede'a autorka omawia kody tożsamości kulturowej i proponuje możliwe warianty zmiany akcentów w badaniach literatury i dziennikarstwa. Pozwoli to określić węzłowe punkty systemów komunikacyjnych w ich kulturowo-narodowej specyfice.

Marina Zagidullina

RETHINKING OF PRESS FUNCTIONS: HOW COULD INDIGENIZATION
RECONFIGURE THE HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE AND JOURNALISM

Summary

This article is devoted to the possibilities of transfer of concepts and ideas of the last decades indigenization theories from the general field of communication to the history of literature and journalism. The author examines the cultural identity codes, referring to Geert Hofstede's research, and offers options for transposition of emphasis in literature and journalism research in order to describe the main communication system nodes in their cultural and national identities.